

Дурак

В старые годы, при царе Горохе это было: у умных родителей родился сын дурак. Еще когда младенцем Иванушка был, родители дивились: в кого он уродился? Мамочка говорила, что в папочку, папочка — что в мамочку, а наконец подумали и решили: должно быть, в обоих.

Не то, впрочем, родителей смущало, что у них сын дурак, — дурак, да ежели ко двору, лучше и желать не надо, — а то, что он дурак особенный, за которого, того гляди, перед начальством ответить придется. Набедокурит, начудит — по какому праву? какой такой закон есть?

Бывают дураки легкие, а этот мудреный. Вон у Милитрисы Кирбитьевны — рукой подать — сын Лёвка, тоже дурачок. Выбежит босиком на улицу, спустит рукава, на одной ножке скачет, а сам во всю мочь кричит: «Тили-тили, Левку били, би-ми-бими, бом-бум!» Сейчас его изымают, да на замок в холодную: сиди да посиживай! Даже губернатору, когда на ревизию приезжал, Левку показывали, и тот похвалил: «Берегите его, нам дураки нужны!»

А

этот

дурак — необыкновенный. Сидит себе дома, книжку читает, либо к папке с мамкой ласкается — и вдруг, ни с того, ни с сего, в нем сердце загорится. Бежит, земля дрожит. К которому делу с подходцем бы подойти, а он на него прямиком лезет; которое слово совсем бы позабыть надо, а он его-то и ляпнет. И смех, и грех. Хоть кричи на него, хоть бей — ничего он не чувствует и не слышит. Сделает, что ему хочется, и опять домой прибежит, к папке с мамкой под крылышко.

— Что с тобой, ненаглядный ты наш? сядь, миленький, отдохни!

— Я, мамочка, не устал.

— Куда ты, голубчик, бегаешь? Не скажешься никому и убежишь!

— Я, мамочка, к Левке бегал. Левка болен, калачика просит; я взял с прилавка в булочной калачик и снес.

Услышит мамочка эти слова, так и ахнет.

— Ах, убил! ах, голову с меня, несчастный, ты снял! Что ты наделал! Это ты, значит, калачик-то украл!

— Как «украл»? что такое «украл»?

Сколько раз и соседи папочку с мамочкой предостерегали:

— Уймите вы своего дурака! большие он вам неприятности через свою глупость предоставит!

Но родители ничего не могли, только думали: «Легко сказать: „Уймите!“, а как ты его уймешь? Как это люди не понимают, что родительское сердце по глупом сыне больше даже, чем по умном, разрывается?»

И точно, примется, бывало, папочка дурака усовещивать: «Калач есть собственность» — он как будто и понимает: «Да, папочка!» Но вдруг, в это время, откуда ни возьмись Левка: «Дай, Ваня, калачика!» Он — шмыг, и точно вот слизнул калач с прилавка! Как тут понять: украл он его или не украл?

Терпел-терпел булочник, но наконец обиделся: принес в квартал жалобу. Явился к дураковым родителям квартальный и сказал: «Как угодно, а извольте вашего дурака высечь». Плакала родительская утроба, а делать нечего. Видит папочка, что резонно квартальный говорит: высек дурака.

Но дурак ничего не понял. Почувствовавши, что больно, всплакнул, но не жаловался: «За что?» и не кричал: «Не буду!» Скорее как будто удивился: «Для чего это папочке понадобилось?»

Так и пропал этот урок даром: как был Иванушка до сечения дураком, так и после сечения дураком остался. Увидит из окна, что Левка босиком по улице скачет, — и он выбежит, сапоги снимет, рукава у рубашки спустит и начнет заодно с дурачком куролесить.

— Ишь занятие нашел! — рассердится мамочка, — дурака дразнит!

— Я, мамочка, не дразню, а играю с ним, потому что ему одному скучно.

— Повертись! повертись! довертись, что сам дураком сделаешься!

Услышит папочка этот разговор и на мамочку накинется:

— Сечь его надо, а она разговаривает! разговаривай больше, — дождешься! Кабы ты чаще ему под рубашку заглядывала, давно бы он у нас человеком был!

И все соседи папочку одобряют: во-первых, потому, что закон есть такой, чтобы дураков учить; а во-вторых, и потому, что никому от Иванушки житья не стало. Намеднись соседские мальчишки вздумали козла дразнить — он за козла вступился. Стал посередке и не дает козла в обиду. Козел его сзади

рогами бьет, мальчишки спереди по чем попало тузят, а ему горюшка мало — всего в синяках домой привели! А на другой день опять с дураком история: у повара петуха отнял. Нес повар под мышкой петуха на кухню, а дурак ему навстречу: «Куда, Кузьма, петушка несешь?» — «Известно, мол, на кухню да в суп»... Как кинется на него дурак! Не успел Кузьма опомниться — смотрит, а петух уж на забор взлетел и крыльями хлопает!

Толковал-толковал ему папочка: «Петух — не твой, как же ты смел его у повара отнимать?» А он в ответ одно твердит: «Знаю я, что петух не мой, да и не поваров он, а свой собственный...»

Как ни любили дурака все домочадцы за его ласковость и тихость, но с течением времени он всех поступками своими донял. Есть ему захочется — нет чтобы мамочку попросить: «Позвольте, мол, милый друг маменька, в буфете пирожок взять», — сам пойдет, и в буфете, и в кухне перешарит, и что попадется под руку, так, без спросу, и съест. Захочется погулять — возьмет картуз, так, без спросу, и уйдет. Раз нищий под окном остановился, а у мамочки, как на грех, в ту пору трехрублевенькая бумажка на столе лежала, — он взял да

ВСЕ

три рублика нищему в суму и ухнул!

— Батюшки! да из него Картуш выйдет! — невзвидела света мамочка.

— И непременно выйдет, — отозвался папочка, — хуже выйдет, ежели ты, вместо того чтобы сечь, лясы с ним точить будешь!

Делать нечего, высекла дурака и мамочка. Но высекла, надо прямо сказать, чуть-чуть, только чтобы наука была. А он встал, сердечный, весь заплаканный, и обнял мамочку.

— Ах, мамочка, мамочка! бедненькая ты моя мамочка!

И сделалось мамочке вдруг так стыдно, так стыдно, что она и сама заплакала.

— Дурачок ты мой ненаглядный! вот кабы нас бог с тобой вместе к себе взял!

Наконец, однако, он и себя, и мамочку едва не погубил. Гуляли они однажды всей семьей по набережной реки. Папочка мамочку под ручку вел, а он, впереди, разведчика из себя изображал. Будто бы они источники Нигера открывать собирались, так он послан вперед разузнать, не угрожает ли откуда опасность. Вдруг слышат стоны; взглянули на реку, а там чей-то мальчишечко в воде барахтается! Не успели опомниться — ан дурак уж в реку бухнул, а за дураком мамочка, как была в кринолине, так и очутилась в воде. А за

мамочкой — пара городских в амунии. А папочка стоит у решетки да руками, словно птица крыльями, машет: «Моих-то спасайте! моих!» Наконец городские всех троих из воды вытащили. Мамочка-то одним страхом поплатилась, а дурак целый месяц в горячке вылежал. Понял ли он, что поступил по-дурацки, или сделалось ему мамочку жалко, только как пришел он в себя, да увидел, что мамочка, худенькая да бледненькая, в головах у него сидит, — так и залился слезами! Только и твердит: «Мамочка! мамочка! мамочка! зачем нас бог к себе не взял?»

А папочка тут же стоял и все надеялся, что дурак хоть на этот раз скажет: «Простите, милый папочка, я вперед не буду!» — Однако он так-таки и не сказал.

После этого случая папочка с мамочкой серьезно совещались: как с дураком быть? Ходили, обнявшись, по зале, со всех сторон предмет рассматривали и долго ни на чем не могли сойтись.

Дело в том, что папочка был человек справедливый. И дома, и в гостях, и на улице он только об одном твердил: «Всые законы писать, ежели их не исполнять». У него даже и наружность такая уморительная была, как будто он в одной руке весы держит, а другою — то золотник в чашечку поступков подбавит, то ползолотника в чашечку возмездий подкинет. Поэтому, и принимая во внимание все вышеизложенное, он требовал, чтобы с Иванушкой было поступлено по всей строгости домашнего кодекса.

— Преступил он — следовательно, и соответствующее возмездие понести должен. Вот смотри!

И он показал мамочке табличку, в которой было изображено:

Но мамочка была мамочка — только и всего. Справедливости она не отрицала, но понимала ее в каком-то первобытном смысле, в каком понимает это слово простой народ, говоря о «справедливом» человеке. Без возмездий, а вроде как бы отпущения. И как ни мало она была в юридическом отношении развита, однако в одну минуту папочку осрамила.

— За что ж мы наказывать его будем? — сказала она, — за то, что он утопающего спасти хотел? Опомнись!

Тем не менее папочка настоял-таки, что дома держать дурака невозможно, а надо отдать его в «заведение».

Регулярно-спокойный обиход заведения на первых порах отразился на дураке довольно выгодно. Ничто не бередело его восприимчивости, не пробуждало в

нем внезапных движений души. В первые годы даже учения настоящего не было, а только усваивался учебный материал. Не встречалось также резкой разницы и в товарищеской среде, — такой разницы, которая вызывала бы потребность утешить, помочь. Все шло тем средним ходом, который успех учения ставил, главным образом, в зависимость от памяти. А так как память у Иванушки была превосходная, да и сердце, к тому же, было золотое, то чуть-чуть Иванушка и впрямь из дурака не сделался умницей.

— Говорил я тебе? — торжествовал папочка.

— Ну-ну, не сердись! — отвечала мамочка, как бы винясь, что она чересчур поторопилась папочку осрамить.

Но по мере того, как объем предлагаемого знания увеличивался, дело Иванушки усложнялось. Большинства наук он совсем не понимал. Не понимал истории, юриспруденции, науки о накоплении и распределении богатств. Не потому, чтобы не хотел понимать, а воистину не понимал. И на все усовецивания учителей и наставников отвечал одно: «Не может этого быть!»

Только тогда настоящим образом узнали, что он несомненный и круглый дурак. Такой дурак, которому могут быть доступны только склады науки, а самая наука — никогда. Природа поступает, по временам, жестоко: раскроет способности человека только в меру понимания азбучного материала, а как только дойдет очередь, чтобы из материала делать выводы, — законопатит, и конец.

Снова сконфузился папочка и стал мамочку упрекать, что Иванушка в нее уродился. Но мамочка уж не слушала попреков, а только глаз не осушала, плакала. Неужто Иванушка так-таки навек дураком и останется!

— Да ты хоть притворись, что понимаешь! — уговаривала она Иванушку, — принудь себя, хоть немножко пойми, ну, дай, я тебе покажу!

Раскроет мамочка книжку, прочтет

«§ о порядке наследования по закону единоутробных»

— и ничего-таки не понимает! Плачут оба: и дурак, и мамочка. А папочка между тем так и режет:

единоутробных,

прежде всего, необходимо отличать: во-первых, от

единокровных;

во-вторых, от тех, кои, будучи единоутробными, суть в то же время и

единокровные, и, в-третьих, от

червонных валетов...

— Вот папенька-то как хорошо знает! — удивлялась мамочка, заливаясь слезами.

Видя материнские слезы, дурак напрягал нередко все свои усилия. Уйдет, во время рекреации, в класс, сядет за тетрадку, заложит пальцами уши и начнет долбить. Выдолбит и так отлично скажет урок, словно на бобах разведет... И вдруг что-нибудь такое насчет Александра Македонского ляпнет, что у учителя на плешиевой голове остальные три волоса дыбом встанут.

— Садитесь! — молвит учитель, — печальная вам в будущем участь предстоит! Никогда вы государственным человеком не сделаетесь. Благодарите бога, что он дал вам родителей, которые ни в чем не замечены. Потому что, если б не это... Садитесь! и ежели можете, то старайтесь не огорчать ваших наставников возмутительными выходками!

И точно: только благодаря родительскому благонавию, дурака из класса в класс переводили, а наконец, и из заведения с чином выпустили. Но когда он домой с аттестатом явился, то мамочка, как взглянула, что там написано, так и залилась слезами. А папочка сурово спросил:

— Что ты, бесчувственный идол, набедокурил?

— Я, папочка, так себе, — ответил он, — это, должно быть, такое правило в заведении...

Даже не объяснился порядком; увидел на улице Левку и убежал.

Левку он полюбил пуще прежнего, потому что бедный дурак еще жалче стал. Как и шесть лет тому назад, он ходил босой, худой, держа руки граблями, — но весь оброс волосами и вытянулся с коломенскую версту. Милитриса Кирбитьевна давно от него отказалась: не кормила его и почти совсем не одевала. Поэтому он был всегда голоден, и если б не сердобольные торговки-калашницы, то давно бы с голоду помер. Но больше всего он страдал от уличных мальчишек. Отдыху они ему не давали: дразнились, науськивали на него собак, щипали за икры, теребили на нем рубашку. Целый день раздавался на улице его вой, сопровождаемый неистовым дурацким щелканьем. Он выл от боли, но не понимал, откуда эта боль идет.

Дурак защитил Левку, обогрел, накормил и одел. Все, что для Левки было нужно, Иванушка брал без спроса; а ежели не знал, где найти, то требовал таким тоном, как будто самое представление об отказе ему было совершенно чуждо. Только у дураков бывает такая убежденность в голосе, такая непререкаемость во взорах. Никого и ничего он не боялся, ни к чему не питал отвращения и совсем не имел понятия об опасности. Завидев исправника, он

не перебегал на другую сторону улицы, но шел прямо навстречу, точно ни в чем не был виноват. Случится в городе пожар — он первый идет в огонь; услышит ли, что где-нибудь есть трудный больной — он бежит туда, садится к изголовью больного и прислуживает. И умные слова у него в таких случаях оказывались, словно он и не дурак. Одно только тяжелым камнем лежало на его сердце: мамочка бессонные ночи проводила, пока он дурачество свое ублажал. Но было в его судьбе нечто непреодолимое, что фаталистически влекло его к самоуничтожению и самопожертвованию, и он инстинктивно повиновался этому указанию, не справляясь об ожидаемых последствиях и не допуская сделок даже в пользу кровных уз.

Не раз родители задумывались, каким бы образом дурака пристроить, чтобы он хоть мало-мальски на человека похож был. Определил было папочка его на службу чем-то вроде попечителя местного училища (без жалованья, дескать, и дурак сойдет, а с жалованьем — даже наверное!); но дурак сразу такую ахинею понес, что исправник, только во внимание к испытанному благонравию родителей, согласился это дело замять. Тогда мамочка напала на мысль — женить дурака: может быть, бог узы ему разрешит. Подыскали невесту, молодую купеческую вдову Подвохину. Невеста из себя писаная краля была и в гостинном дворе две лавки имела. Вдовела она безупречно, товар держала всегда первейшего качества и дела свои по торговле вела умело и самостоятельно. Словом сказать, лучше партии и желать не надо. Дурак, в свою очередь, тоже понравился невесте: внешность у него была приличная, поведение — кроткое. Даже ума в нем она не отрицала, как другие, но только находила, что нужно этот ум развязать. И вполне на себя надеялась, что успеет в этом.

Но у дурака все вообще инстинкты до такой степени глубоко спали, что даже эта жалостливая и скромная женщина удивилась. Ни разу он не дрогнул от прикосновения к ней, ни разу не смутился, не почувствовал ни одной из тех неловкостей, к которым с таким сердечным жалением относятся женщины, инстинктивно угадывая в них первые, сладостнейшие трепетания любви. Придет дурак, отобедает, чаю напьется и, по-видимому, совсем не понимает, почему он находится у Подвохиной, а не дома.

— Как это вам не скучно: ничего вы не понимаете? — спросит его красавица вдова.

— Ах, нет, мне очень скучно! Говорят, будто оттого, что занятия у меня никакого нет.

— Так вы займитесь... полюбите кого-нибудь!

— Помилуйте! как же возможно не любить! всех любить надо. Счастливых — за то, что они сумели себя счастливыми сделать; несчастных — за то, что у них радостей нет.

Так это сватовство и не состоялось. Потужила вдова Подвохина и даже пообещала годок подождать, но месяц-другой потерпела, да в рождественский мясоед и вышла замуж за городского голову Лиходеева. Теперь у них уж четыре лавки в гостином дворе; по будням они во всех четырех лавках торг ведут: она — по галантерейной части, он — по бакалейной; а по праздникам исправника и прочих властей пирогом угощают.

А дурак засел дома на родительской шее и ухом не ведет. На пожары бегают, больных выхаживает, нищих целыми табунами домой приводит.

— Хоть бы господь его прибрал! — шепчет папочка потихоньку, чтоб мамочка не слыхала.

А мамочка все молится, на милость божью надеется. Просветит господь разум Иванушкин пониманием, направит стопы его по стезе господина исправника, его помощника и непременного заседателя! Должен же он какую-нибудь должность по службе получить! не может быть, чтоб для всех было дело, и только для него одного — ничего.

Только один человек на дурака иными глазами взглянул, да и тот был случайный проезжий. Ехал он мимо города и завернул к папочке, с которым он старинный-старинный приятель был. Пошли сказы да рассказы: помянули старину, об увлечениях молодости досыта наговорились, а между прочим и настоящего коснулись. Папочка двери на всякий случай притворил, и оба, что было на душе, все выложили. Объяснились. Не сказали, а подумали: «Так вот, брат, ты кто!» Разумеется, не обошлось без жалоб и на дурака; а так как с ним уж не чинились, то так-таки, в его присутствии, прямо «дураком» его и чествовали. Заинтересовался проезжий рассказами о дураке, остался ночевать у старого приятеля, а на другой день и говорит:

— Совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет — от этого он и к жизни приспособиться не может. Бывают и другие, которые от подлых мыслей постепенно освобождаются, но процесс этого освобождения стоит больших усилий и нередко имеет в результате тяжелый нравственный кризис. Для него же и усилий никаких не требовалось, потому что таких пор в его организме не существовало, через которые подлая мысль заползти бы могла. Сама природа ему это дала. А впрочем, несомненно, что настанет минута, когда наплыв жизни силою своего гнета заставит его выбирать между дурачеством и подлостью. Тогда он

поймет.

Только не советовал бы я вам торопить эту минуту, потому что как только она пробьет, не будет на свете другого такого несчастного человека, как он. Но и тогда, — я в этом убежден, — он предпочтет остаться дураком.

Сказал это проезжий и проследовал из города дальше. А папочка между тем задумался. Начал всю свою жизнь перебирать, припоминая, какие у него подлые мысли бывали и каким манером он освобождался от них? И, разумеется, как ни строго себя экзаменовал, но вышел из испытания с честью. Никогда у него подлых мыслей не бывало, а следовательно, и освобождаться от них он надобности не ощущал. Отчего же, однако, он не дурак?

Наконец порешил на том, что у старого друга ум за разум зашел. «Сидят они там, в петербургских мурьях, да развиваются. Разовьются, да и заврутятся. А мы вот засели по Пошехоньям: не развиваемся, да зато и не завираемся — так-то прочнее. И врет он всё: никакого дара природы в дурачестве нет, и ежели, по милости божией, мой дурак когда-нибудь умницей сделается, то, наверное, несчастным оттого не будет, а поступит на службу, да и начнет жить да поживать, как и прочие все».

Порешивши таким родом, стал ждать: вот-вот Иванушка просияет, и его, не в пример другим, на чреду служения призовут. Ан, вместо того, в одно прекрасное утро ему объявили, что дурак совсем из дома исчез.

Прошли годы; старики-родители очи выплакали. Не было той минуты, в которую бы они не ждали; не было той мысли, которая бы, прямо или косвенно, не относилась к исчезнувшему дураку. Все перезабыли старики, только об одном помнили: «Где он теперь? сыт ли? одет ли? много ли дураку нужно, чтоб погибнуть!» Не дай бог врагу испытывать эту пытку родительского сердца, которое все вины на себя берет всеми детскими стонами, в тысячекратно раздающемся эхе, раздирается!

Однако дурак воротился. Внезапно, точно так же, как и исчез. Но от прежнего цветущего здоровьем дурака не осталось и следов. Он был бледен, худ и измучен. Где он скитался? что видел? понял или не понял? — никто ничего дознаться от него не мог. Пришел он домой и замолчал.

Во всяком случае, проезжий был прав: так до смерти и осталась при нем кличка:
дурак.